

Стихия юмора в автобиографической и эпистолярной прозе Марины Цветаевой

"Вы знаете, что мне показалось чуть смещенным в Вашем образе мамы? <...> у Вас – статная, широкоплечая ..., тут бы, пожалуй, не "статная" подошло бы больше, а "стройная", "статность" подразумевает русскую могучую "стать", которой не было... В ней была грация, ласковость, лукавство – помните? Ну, конечно же – помните. Легкая она была"¹, – писала Ариадна Эфрон Павлу Антокольскому после чтения его воспоминаний.

Полемический пафос Ариадны Сергеевны явно связан не только (и, может быть, не столько) с неточностями мемуариста в воссоздании внешнего облика Марины Ивановны, сколько – психологического портрета, в этом убеждают и такие слова, как "ласковость, лукавство". "Легкая она была..." О чем это? Очень уж не привычно звучат рядом с именем Марины Цветаевой такие слова, но они пронзительно перекликаются со сказанным ею самой в последний год жизни: "Я от природы очень веселая (м.б., это – другое, но другого слова нет)" (VII, 688; из письма Вере Меркурьевой, 1940 год, август).

Героиня повести Сергея Эфрона "Детство" – странная девушка Мара, в характере которой, по свидетельству Анастасии Цветаевой "с нежным тонким юмором подмечены <...> характерные, странные в быту черты молодой Марины"², приехав в гости к подруге, "пугает" своей необычностью ее родителей и очаровывает маленьких братьев. с увлечением сочиняя в веселом соавторстве с ними "глупую" сказку*, она убежденно внушает мальчикам: "Нет, глупостей нельзя забывать! Только в них спасение!" – "Но ты сама ведь умная?", – удивленно спрашивает один из них, и на этот вопрос дети слышат "загадочный ответ", который еще не скоро смогут понять во всей его глубине: "Только умные люди делают настоящие, самые глупые глупости!"³.

Этой истине, на долгие годы ставшей очень близкой ее душе, научил Марину Цветаеву Максимилиан Волошин. с ним в ее жизнь вошла веселая свобода... После того "воздуха" ранящей лирики и высокого строгого романтизма, каким дышали они с сестрой в доме в Трехпрудном переулке ("Видно, грусть оставила в наследство, / Ты, о мама, девочкам своим...") атмосфера обаятельного артистизма и умного юмора, так украшающая человеческое общение, стала для нее радостным открытием:

"- Марина Ивановна! Как хорошо, что вы не так пишете, как те, кого вы любите!

- Максимилиан Александрович! Как хорошо, что вы не так себя ведете, как герои тех книг, которые вы любите!" (VI, 168).

Такой диалог помогал мгновенно преодолеть минутное отчуждение (от того, что в тот период они любили разные книги).

* В "абсурдистской" атмосфере этой сказки о маленькой девочке, выбросившей в окно свои галоши, "потому что они ей надоели", и во время наводнения вспомнившей, что няня всегда сравнивала ее губы с калошами, и помчавшейся на бал по превратившимся в мост собственным губам, и наказавшей обидчиков, смеющихся над ней, избив их этим мостом – "поднявши мост, как слон хобот"⁴, разогнавшей всех и танцующей в бальной зале в одиночестве – есть что-то сближающее с будущим миром Даниила Хармса.

Опыт общения с Максом Волошиным обострил цветаевский "слух на комическое" в самых разных его проявлениях, – в частности, в речах людей, у которых "иной словарь"... "Барышня, как бы мне посмотреть нашего барина заведение? Говорят, сам государь на освящение пожалует, так как бы мне уж заодно..." (V, 162), – в таких выражениях семнадцатилетний дворник Алексей высказал желание посмотреть музей ее отца. В дальнейшем Иван Владимирович вынужден смущенно признать, что попытка приобщения к культуре этого "человека из народа" не удалась. Говорит он об этом так: "Да видишь ли, как человек непросвещенный и даже придурковатый, он, завидев всех моих Гераклов и Венер, так застыдился – и даже испугался!.." (там же). Далее он так "живописно" описывает пластику смущенного и испуганного Алексея, что перед глазами возникают кадры чаплинских фильмов: "Закрылся локтем и таким манером прошел по всему музею <...> Красный, как рак, взглянет на секунду из-под локтя и, как ошпаренный, опять зажмурится" (там же, 162-163).

Нечаев-Мальцев ворчит, недовольный в очередной раз предьявленным ему Цветаевым счетом (денег, необходимых музею: "Пусть государь дает, *его же родителя – имени...*" (V, 158; курс. мой – Л.К.), а няня так объясняет внуку, кто пришел с визитом к их барину: "Ты Пушкина-то на Тверском знаешь? <...> Ну, сынок их, значит. Уже в летах..." (V, 64).

Увлеченно и нежно воспроизводя "воздух", в котором рождались эти простодушные реплики, Марина Цветаева искренне наслаждается многоцветьем оттенков: трогательно и забавно "сокращают дистанцию" эти слова ("родитель", "сынок"), – так "по-семейному", "домашне" в их свете начинают выглядеть те, о ком говорится!

Некоторое "заострение формулировок" (почти не скрываемое) при якобы "дословном" цитировании не только не искажает сути характеров ее "персонажей", но "крупным планом" высвечивает в них самое главное, иногда – сокровенное... Особенно это ощутимо при как будто бы "точной" передаче реплики матери ("Мой Пушкин"), возмущенной "невежеством" пятилетней дочки, не знающей, кто такой Наполеон: "Да ведь это же – в воздухе носится!" (V, 83). Эта сцена овеяна поистине "диккенсовской" атмосферой (как и многое, рассказанное об отце...) – ведь и в его романах многочисленные чудачки и чудачки явно "не слышат" в собственных речах комедийных ноток, так внятных любящему их автору...

На страницах цветаевской прозы по-разному выявляется юмор ситуаций, скрытый от поверхностного взгляда: это может быть и мимолетный комментарий в скобках (по ходу диалога), и осмысление эпизода на глобально обобщенном уровне, с ее неповторимыми афористичными "формулами", и чуть заметное преувеличение наивно смешного в поведении и речи (собственном или собеседников), и – даже неожиданный знак препинания.

С неизменным интересом замечает и с удовольствием фиксирует Марина Цветаева тонкие и "многослойные" юмористические подтексты и в разных ситуациях своей собственной жизни. В один из московских вечеров 1918-го года судьба случайно занесла ее в некую "коммуну". После ночевки там (запись об этом эпизоде в ее дневнике так и озаглавлена "Ночевка в коммуне"), собираясь уходить (ранним утром), она нечаянно, спутав дверь, оказалась в чужой спальне, невольно напугав спящую там пару.

Комедийность этой забавной ситуации вскрывается постепенно, "на разных уровнях": "явный" слой ее естественно "схвачен" всеми "свидетелями и участниками" сцены – "Потом слышала от N: спящий принял меня за красное привидение (она была

в ярко красном, "цвета пожара", платье – Л.К.). Призрак Революции, исчезающий вместе с первыми лучами солнца! Рассказывая, безумно смеялся" (IV, 495).

Иные, более глубинные смыслы этого "приключения" открываются при размышлении Марины Цветаевой над ним с дистанции времени, за которое так много пережито: "Только сейчас, пять лет спустя, по достоинству оцениваю положение:: единственное, что я догадалась сделать, попав в коммуны, – это попасть в чужую спальню, единственное, – вопреки всем призывам г<оспо>жи Коллонтай и К^о – у коммунистов – некоммунистического.

- "Plus royaliste que le Roi!" ("более роялист, чем король!" – *франц.*) (пометка весной 1923 г.) (IV, 495).

Подобные несоответствия неизменно веселят ее: "Не лучшим ли образцом благородной иронии будет явление моих стихов на страницах журнала с таким названием?" ("Благонамеренный" – Л.К.; VII, 26), – так откликнулась Марина Ивановна на предложение издателя (кн.Шаховского Д.А.) прислать стихи.

Еще более явный трагикомический парадокс зафиксирован в ее дневнике 1918 года. День покушения на Ленина... Марина Цветаева, как известно, внутренне ощущала себя "по другую сторону баррикад", в дни тревожной неизвестности о событиях на Дону и судьбе мужа она чувствует это особенно остро. (Кстати, *именно в этот день* она получила известие, что Сергей жив. Таинственные капризы Судьбы...) Тем не менее она готова уважать горе своего квартиранта – убежденного коммуниста Закса. Марина Ивановна ни минуты не сомневалась в том, что этот человек тяжело переживает случившееся – в тот день по Москве прошел ложный слух о смерти Ленина, – пока не услышала его холодно книжное, сухое рассуждение: "Для нас, марксистов, не признающих личности в истории, это вообще не важно, – Ленин или еще кто-нибудь. Это вы, представители буржуазной культуры <...> с вашими Наполеонами и Цезарями..." (IV, 491). Такие бездушные слова никогда не могли бы оставить равнодушной Марину Цветаеву, но в данном случае они вызвали ею самой от себя не ожидаемую удивительную реакцию: "Оскорбленная за Ленина (!!!) молчу" (там же).

Как выразительны и многозначны эти три восклицательных знака в скобках! В них – и только в них! – и выражена вся фантастическая парадоксальность ситуации, так остро ощущаемая ею и совсем не понятая собеседником.

Этот человек, в силу неистребимой "абстрактности" его отношения к жизни, часто не улавливает многого стоящего за "верхним" очевидным слоем цветаевских слов, и от этого в их общении возникает множество комических ситуаций: "<...> я бы – проссите! – здесь ни одной ночи не провел (VI, 167), – гневно заявил он, возмущенный ужаснувшим его беспорядком в ее доме, уже почти превратившемся в "трущобу" (за время, что он не был здесь). Марина Ивановна реагирует на это с ласковой насмешливостью: "Я, невинно: – "неужели?" (там же), и юмористический эффект достигается именно ремаркой "невинно"... В таком контексте это слово "рикошетом" задевает и наивного собеседника, не способного уловить в якобы "невинном" вопросе тонкий остроумный подтекст.

"Простодушные" собеседники часто "слышат" в ее словах лишь буквальный их смысл (немногие способны, как Макс Волошин, с полуслова понимать все подтексты, воспринимать высказанную мысль во всем ее объеме, чувство – во всех его тонких нюансах...): при воспроизведении таких диалогов многообразные "оживляющие" цветаевские ремарки придают самым "нейтральным", на первый взгляд, репликам неожиданный юмористический колорит.

"Выпустили вашего дедушку <...>. Ему, правда, девяносто лет?" Я, *чтобы хоть чем-нибудь отблагодарить*: "Девяносто восемь" (V, 135; курсив мой – Л.К.).

Речь идет об историке Иловайском, арестованном ЧК и освобожденном благодаря приложенным Заксом, по просьбе Марины Ивановны, усилиям. Искренняя благодарность и своеобразное уважение причудливо перемешаны в цветаевском отношении к этому человеку с ласково снисходительной насмешливостью – он предстает (в "Доме у Старого Пимена" и на страницах многих цветаевских писем) добрым, порядочным, но вследствие "идеологической зашоренности" безнадежно ограниченным человеком.

Что касается "древнего возраста" историка Иловайского, – на фоне множества книг его о давних веках, в том числе и учебников, по которым обучалось не одно поколение российских гимназистов, – он невольно многими преувеличивался, и без комментария ответ Марины Ивановны не содержал бы в себе ничего смешного (можно было бы поверить, что вне зависимости от справедливости данного утверждения – "девяносто восемь" – сама она верит в него *, но слова "чтобы хоть чем-нибудь отблагодарить", вскрывая забавный мотив ее, бросают новый свет на весь диалог, погружая его в "диккенсовскую" атмосферу, внося и тонкую самоиронию.

В самые "резвые" и "деловые" сюжеты цветаевских писем, дневников, автобиографической прозы часто вкрапливаются озорные фантазии, полные юмора и тонкой самоиронии.

В переписке с О.Е.Колбасиной-Черновой и ее дочерью обсуждается организация литературного вечера "в пользу" Марины Цветаевой (с этим связывались надежды на решение в очередной раз сгустившихся материальных проблем), перечисляются писатели, которых планируется пригласить. Борис Зайцев не вызывает у нее сомнений (в его согласии прийти), и "деловая часть" на этом исчерпана, но в связи с его именем в цветаевском воображении вдруг возникает некий комический "микросюжет", и она не может удержаться от искушения якобы "предложить" его друзьям: "<...> можно даже будет внушить З<айце>ву, что мой Борис <...> в его честь. (NB! Вот удивится!)"** (VI, 689). Разумеется, ее корреспондентам ясно, что это предложение – "не всерьез", но так весело – и им, и ей! – представить себе эту картину – недоумение и, возможно, даже некоторую "шокированность" почтенного серьезного писателя от такого, никак не вяжущегося с их вежливо сдержанными отношениями, заявления!

Это очень напоминает давние коктебельские, "под сенью Макса" – в совсем "другой жизни"... – придумываемые розыгрыши, вырастающие в целые "спектакли" – феерически остроумные, с "разработанными" характерами, сюжетами, взаимоотношениями, где сестры юного Сергея Эфрона исполняли роли испанки Кончитты, ревнивой и страстной, ни слова не знающей по-русски, безумно влюбившейся в Макса и устраивающей ему сцены, и сумасшедшей поэтессы Марии Папер, "грозно" объявляющей "Иду в горы!", а сам он – "Игоря Северянина", "красивого, но глупого", надменно взирающего на окружающих... И весь этот "фейерверк" неумной фантазии, юмора, артистизма готовился ими (в "соавторстве"

* В переписке с Верой Буниной М.Цветаева раскрывает дополнительные пласты этой ситуации – бесконечных комических недоразумений с возрастом Д.И.Иловайского. Оказывается, она и сама была тогда (в 1918 году) введена в заблуждение братом Андреем, уверившим ее, что деду 93 года, и после сообщения Верой Буниной точной даты рождения Д.И.Иловайского (1832 г.) Марина Ивановна была искренне огорчена "разрушением мифа и "с надеждой" спрашивала: "...когда умер Д<митрий> И<ванович>? Мне *помнится* – в 1919 г., но м.б. (тайная надежда) – позже, т.е. до 90 л<ет> все-таки – дожил?" (VII, 251).

** Марина Цветаева собиралась, как известно, назвать будущего сына Борисом в честь Бориса Пастернака.

с молодой Мариной и, видимо, с самим Максом Волошиным)... для единственной зрительницы – Аси Цветаевой, только что приехавшей в Коктебель (еще не зная, "куда она попала"!) и поначалу поверившей в реальность всех этих персонажей.

Еще громче слышны "отголоски Коктебеля" в другом сюжете цветаевской переписки, на первый взгляд тоже сугубо "прозаическом": друзья посоветовали Марине Ивановне обратиться с письмом или прошением о помощи к известному в те годы во Франции своей поддержкой русских писателей-эмигрантов "меценату" Л.М.Розенталю. – приехавшему из России ювелиру.

"Тема Розенталя" с самого начала сопровождается остроумными, полными проницательного психологизма комментариями:

"Не хотелось бы петь Лазаря, он ведь все знает наперед, – хорошая у него, должно быть, коллекция автографов!" (V,727). Далее, приложив вариант своего письма к нему – с просьбой друзьям ответить, что, на их взгляд, больше подходит для данного случая – письмо или прошение, она с тонкой и "не щадящей себя" самоиронией добавляет: "Могу, конечно, написать и прошение. (Вы же знаете, как я их мастерски пишу!), но очень противно, – не настолько, однако чтобы из-за благородства провалить все дело" (VI, 728).

После этого, казалось бы, остается только ждать дальнейшего развития событий (ответа друзей или результата), но так ситуация может видеться лишь людям "обыденного сознания", а цветаевское воображение в своем головокружительном полете переносит всю "историю с Розенталем" в "другое измерение": ("Ах, если бы Р<озенталь> в меня влюбился! – Он, наверное, страшно толстый. – После всех танцовщиц – платонической любовью – в меня!" (VII, 729).

Прочти эти слова ничего не знающий о Марине Цветаевой, не читавший ничего из ею написанного, да к тому же не знакомый с русской классикой человек, – он вполне мог бы увидеть в них нечто близкое к "американской мечте" (пусть в шутовском тоне выраженной) об избавлении от бедности благодаря осчастливившей "золушку" любви "принца"-миллионера, но в цветаевском мире, разумеется, все наоборот...

Много лет назад молодая Марина Цветаева, очарованная благородно рыцарским обаянием Стаховича, исполняющего в пьесе Зинаиды Гиппиус роль мудрого старого человека, отечески заботливо и философски отстраненно наблюдающего любовные страсти молодежи (соответствующую его возрасту роль), – сказала ему: "Будь я на месте Веры Редлих (актрисы, исполняющей роль главной героини, влюбленной в гимназиста – Л.К.), я бы всю пьесу опрокинула. – То есть? – Вы на сцену – текст забыт, жених забыт... – Вы так беспамятны? – Нет, это Вы – незабвенны!" (IV, 506).

Думается, что в словах "Я бы всю пьесу опрокинула..." – своеобразный "ключ" ко многим сюжетам цветаевской жизни (и тем, что "проигрывались" только в ее воображении, и – воплощенным в земной реальности)*. Так и в "сюжете Розенталя" "опрокидываются" все могущие возникнуть банальные предположения: "Я бы написала чудесный роман <...> – о любви богатого к бедной, еврея к русской, банкира – к поэту, сплошь на антитезах. Чудесный роман, на к<отор>ом дико бы нажилась, а Р<озенталь> к этому времени бы обанкротился, и я бы его пригрела. – А?" (VI, 728).

...Вольно или невольно, но несомненно ощутима в таком "повороте сюжета" переключка с давними цветаевскими строками, написанными ею " в другой жизни":

- <...> Зато в блаженном мире – *там*,
Была я – княжескою дочкой,

* Этот "ключ" приоткрывает многое и в сюжетах цветаевской лирики, что может явиться темой отдельного исследования.

И еще один "вариант": "Я непременно хочу с ним (Розенталем – Л.К.) подружиться, особенно если ничего не даст" (там же).

Сколько веселой лихости в такой игре воображения, в азартном приобщении к ней друзей, в этом озорном вопросе ("А?"), которым завершается сюжет.

Реальная встреча с Розенталем так и не состоялась, и сама ее идея о возможности "подружиться" с таким человеком могла бы представиться совершенно не реальной – в самом деле, какой "общий язык» мог бы найтись у нее с автором книги с таким чуждым ей заглавием – «Будем богатыми!» (эта книга была выпущена Л.М.Розенталем в Париже в 1925 г.) – если бы не несколько *реальных* историй, рассказанных ею в 1921 году в письме к Евгению Ланну (подзаголовок этой части письма – «Три посещения»). Эти истории позволяют предположить, что Марина Цветаева имела основания верить в свою способность «очеловечить» Розенталя даже в том случае, если бы оказалось, что он уже «не человек, а государство».

(«Если Р<озенталь> человек, он поймет [ее письмо к нему – Л.К.], если он - государство, т.е. машина, нужно прошение», - писала она О.Е.Черновой, прося ее на месте решить, что лучше).

Думается, что в одном ряду с историями в письме к Евгению Ланну можно рассматривать и осмыслять и сюжет рассказа «Страховка жизни», написанного во Франции в 1934 г. – настолько близка к ним психологическая ситуация этого сюжета (при всем понимании того, что реальный эпизод жизни в рассказе художественно преобразен – но он *был*, не случайно он – в разделе «Автобиографическая проза», да в этом и невозможно сомневаться, зная ее!)

Три человека - "Спекулянт со Смоленского" (рынка – Л.К.), "Военный из комиссариата. – Высокий, худой, папаха. – лет 19" (VI, 167, 169) – (в Москве 1921-го года) и страховой агент (в Париже 1934-го года) – шли к ней, в ее дом со своими "узко профессиональными" задачами (заключить "выгодную сделку", обменяв табак на пшено; "составить протокол" и оштрафовать "гражданку", отреагировав таким образом на жалобу жильцов; убедить застраховать жизни – свою и близких), но каждый из них так потрясен ее личностью, что по ходу беседы с ней "забывает" о своей "социальной роли".

Спекулянт начинает торговаться "наоборот", как в игре в поддавки, и добрым "диккенсовским" комизмом наполнена эта сцена: "<...> позвольте мне уж вместе 1 ф<унта> предложить Вам полтора" – "Вы меня смущаете!" – "Ну прошу Вас!" (VI, 168). – настаивает он, пораженный легкостью, с которой она отдает ему вместе с пшеном и мешок – "Но я ведь чужой человек, мешок – ценность..." – "Мешок – не ценность, человек – ценность, Вы хороший человек, берите мешок!" (там же).

Уходит "спекулянт" из цветаевского дома со словами: "Я впервые вижу такого человека". – "Неразумного?" – "Нет – нормального <...>.Помогай Вам Бог!" (VI, 168-169). (Только умные люди делают настоящие, самые глупые, глупости...)

Невозможным оказывается с Мариной Цветаевой "узко функциональное" общение! Даже "военный из комиссариата" – самый, казалось бы, "безнадежный" из всех – разительно меняется...

Входит он с абсолютно "зоценковской" – в стиле будущих, еще не написанных его героев! – фразой: "Вы путем незакрывания крана и переполнения засоренной раковины разломали новую плиту №4 (VI, 169), но после неожиданного ее ответа на свой упрек "Стыдно, гражданка, Вы интеллигентный человек!" – " В том-то и вся беда, – если бы я была менее интеллигентна, всего этого бы не случилось, – я ведь все

время пишу" (там же), – удивленно задумывается: "А что именно" ([пишете] – Л.К.). – "Стихи". – "Сочиняете?" – "Да" (там же). После этого он неожиданно произносит слова из "другой жизни", – казалось бы, невозможные в его – "военного из комиссариата" в папаше! – устах – "Очень приятно!" (там же). Так, видимо, ему представляется "светское" общение. Забавно и трогательно прозвучали у него эти "чужие слова", такие "церемонные", вежливые... Окончательно смущенный ее помощью в составлении протокола – "неудобно, на себя же", он уже не может вернуться к своей прежней, сурово официальной манере (хотя о штрафе и не забывает) и уходит с растерянным, человеческим вздохом – "Жалко гражданку!" (VI, 170).

Страховой агент, начав с бестактной попытки убедить в выгодности его предложения застраховать жизнь мужа, кончает самозабвенной и "фантастической" исповедью, раскрывая "сокровенного себя" – любящего, беспредельно преданного сына одинокой матери. Вздволнованно почувствовав, как слушала Марина Цветаева эти признания, он прощается на совсем "другой волне": "... простите, если я чем-нибудь задел ваши чувства... Вы любите своего мужа, у вас очаг, вам страховка так же не поможет, как и мне, я теперь вас понял..." (V, 218).

"Вся пьеса" снова – как и в двух предыдущих случаях! – "опрокинута" Мариной Цветаевой: все банальные сценарии общения с ней, что виделись ее будущим собеседникам до встречи, "взрываются" изнутри.

Создание таких парадоксальных ситуаций входит в неповторимое цветаевское "жизнестроительство": она выводит людей – самых разных! – на прежде неведомые им эмоциональные и духовные просторы, где они начинают совсем по-иному чувствовать и понимать – так, как сами не ожидали от себя...

"От меня шла – свобода <...>. На мне люди оживали как янтарь. Сами начинали играть", – вспоминала она в письме к Вере Меркурьевой годы спустя (1940 год; VII, 688). Об этом – радостно торжествующий финальный аккорд, которым заканчивает Марина Цветаева историю каждой из встреч (в письме к Е.Ланну): "Сию. Дошло!" (VI, 167, 169, 170).

Стихия юмора, такая родная ей, помогала "оживлению" омертвевших, ослепших, уставших душ. Это происходило и в "живых", пусть самых мимолетных встречах, и в эпистолярном общении, и много раз в жизни убеждалась Марина Цветаева, что – не все еще потеряно (может быть, не меньше, чем в неизбежной ее трагедийности), и слова "но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь" (I, 177) ею выстраданы с не меньшей силой, чем все иное...

Примечания

¹ Ариадна Эфрон о Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М. 1989, с.281-282.

² Анастасия Цветаева. Воспоминания. М. 1974, с.443.

³ Воспоминания о Марине /Цветаевой./ Сост. Л.Мнухин и Л.Турчинский. М. 1922. С.

⁴ Там же. С.